

Элегия шестая

Пора, мой друг, пора. Я Пушкина листаю.
Четвертый час утра. Элегия шестая.
Поморщусь, закурю и выдохну привычно:
печаль моя мутна и ночь косноязычна.
Вопит во сне вдова, на свадьбе шут рыдает.
подснежник радует, и тут же увядает,
играют радугой разводы нефтяные
на лужах городских. О чем ты хнычешь ныне,
неблагодарный раб? Кому ты так глубоко
завидуешь? Кому светло и одиноко?

Ах, мышья беготня. Уже пробили зорю.
Запахнет серый свет бродящею лозою,
и дымом – свежий хлеб, не душистым, а сосновым,
и спросят мёртвого: «не грустно? не темно вам?»
Лимон, лавром, друг, вернее, лавровишней.
Давно ли вечно жить нам обещал всевышний?
Но это было там, в других краях, где горе
топили юноши в арабском алкоголе,
и пела под дождем красавица чужая,
грядущей тишине огнём не угрожая.

Элегия седьмая

Л.С.

Все кажется – вернусь, и станет все, как было,
на Малой Бронной, где теперь сугроб
(как я тебя любил, как ты меня любила!),
аптека и кофейня. Жизнь взахлёб.
И будет нам тепло среди зимы косматой:
подпольный Галич с плёнки запоет,
и кухню полутемную зальет
люминесцентный свет продолговатый.

Любил-то я тебя, а был влюблен в одну,
другую, третью и сердился, право,
когда ты выговаривала: ну,
ты, мальчик мой, неправ, а впрочем, слава
Создателю: он сам – творенья часть,
то сдвинет ось земли, то сам себе дивится,
то посылает всякой мрази власть,
то глупость – юношам, то молодость – девицам.

Кончается благословенный век мой.
Ты умерла (а я не поумнел),
но все смеешься, пепел сигаретный,
как бы профессор с тонких пальцев – мел,
отряхивая в оранжевое блюдце.
Нет, не вернусь. Ушедшим не проснуться,
лишь Патриаршие сверкают инеем,
и небо черное, и светло-синее.

Элегия восьмая

Ах, как смешно ты мечешься, голубчик, в рубашке клетчатой,
в штанах (вельвет песочный в мелкий рубчик), с зачитанным
Овидием в руках.
в сиреневых носках.

Не нам воспрять – лишь ангелам, вернее, созданиям,
мы выцветаем, глупый мой, бледнеем, а то и вовсе пропадаем, да,
не знающим стыда –

Не возвратит заоблачный охотник оброненного в черных подворотнях,
в года, когда с отточенной тоской свет теплился в столярной мастерской

на первом этаже замоскворецком, на сельском кладбище,
где Гавриил, небесный генерал, Давида молодого уверял:
в евангелии детском.

лишь певший об увиденном впервые снять цепь врожденную умеет
одним движением – и в тесном вещем сне зубами скрежетать
с грешной выи
без помощи извне

Элегия девятая

зацвела конопля дозревает мак
а подумал о будущем и обмяк
и зашелся кашлем от сигареты
различив за безлицею синевой
осторожный и жалобный голос твой
повторяющий что ты где ты

распахнется при черной свече зрачок
молоку на смену придет обрат

станет страшно и тихо-тихо,
лишь под утро в углу затрещит сверчок
таракану друг и цикаде брат
подзывая свою сверчиху.

потемнеет пристань невдалеке
где спустился бы в лодку с узлом в руке
раскулаченный, только пешим ходом
бормотать ему по водам чужим
над которыми сириус недвижим
истекает бесплотным медом

полно хвастаться кожаным ярлыком
на княжение – певчих сверчков на корм
игуанам и мелким змеям
размножают – и светимся мы во тьме
и встречаемся как не в своем уме
и прощаемся как умеем

Элегия десятая

отсидели за школьною партой возмужали в родной стороне
затхлый запах свободы плацкартной кружит бедную голову мне
и играет в граненом стакане счастье странника спелый агдам
и дошкольники машут руками уходящим на юг поездам

и еще я студент не добытчик а страна за моею спиной
набивает ивановский ситчик полыхает травую степной
тянет сети работает то есть про железнодорожный рассвет
сочиняет стучащую повесть но у времени совести нет

счет идет на такие секунды что и выбора нету прости
не замай темнохвойной пицунды моря в гаграх и праха в горсти
предвечерний покоится с миром не резон уже и недосуг
воскресать молодым пассажирам поездов уходящих на юг

Элегия одиннадцатая

когда адам отстраивал содом
и любовался собственным трудом
телеги с черепицею скрипели
по глинистой дороге, мастерки
сновали, словно ласточки, легки,
молчали плотники, а каменщики пели.

в чем смысл творенья город расскажи
десятники свернули чертежи
грядущее плотнее и бесплотней
охотник на оленей лжец кузнец
и ростовщик и мельник наконец
обнявши жён справляют день субботний

один адам на ложе земляном
скорбит и размышляет об ином
спи старец спи пускай тебе приснится
красавец Блок (уволенный рыбак)
с медовой папироскою в зубах
и бумазейной розою в петлице

Элегия двенадцатая

И стартовал бы с чистого листа,
чтоб стала ночь прощальна и проста,
ан не выходит. Грустно. Тараканы
под плинтусом. Зима. Метаморфоз
не жалуем, ни в шутку, ни всерьез,
засим (привет, Лебядкин!) и стаканы

сдвигаем с тусклым звоном. Не хотим,
но кожа превращается в хитин,
а руки-ноги – в лапки, и свобода
сужается, как довоенный мир,
до точки, до одной из черных дыр
в развалинах живого небосвода.

А тараканы знай шуршат, шуршат,
кот ловит перепуганных мышат,
бездомный муж на вентиляционной
решетке, в древний кутаясь тулуп,
пьёт из горла. И песня льется с губ,
безмолвная, как пруд пристанционный

из Саши Соколова, с трын-травой
и радугой бензиновой. Постой,
на пышный град в убогой облицовке
из жженой глины – оглянись! Жена
с тележкой бредет, обожжена
безумьем. Ни завязки, ни концовки.

Тем и скучна поэзия, ma chère,
что дышит только светом горних сфер
(шучу). Сужаясь от избытка чачи
(как бы зрачок), за истину не пьет,
невнятицу бесшумную поет.
И рад бы изменить ей, но иначе –
не смог бы, нет. Прощальна и проста,
снимает тело мертвое с креста
и, тихо прихорашиваясь, плачет.